



## Н. Я. ЭЙДЕЛЬМАН

### «...чему, чему свидетели...»

#### УСПЕХ КАРАМЗИНА

При всем уважении ко многим замечательным российским историкам осмелимся заметить, что ни один из них не имел того успеха, отклика, такого исключительного общественного признания, как Карамзин. Это отнюдь не означает, конечно, что Соловьев или Ключевский были хуже своего предтечи; их труды, кстати, выходили куда большими тиражами, чем «История государства Российского» Карамзина. Однако три тысячи экземпляров в 1818 году, очевидно, означали больше, чем десять, двадцать тысяч в конце XIX столетия.

Да дело не только и не столько в тиражах. Может быть, в идеологии? Но Карамзин, как известно, был много консервативнее Пушкина, декабристов и сотен других лучших своих читателей. И тем не менее лучшие читатели, не соглашаясь, горячась, постреливая эпиграммами, покупали, читали и... восхищались.

В чем же дело?

Предоставим слово одному из первых читателей карамзинской «Истории» и услышим в его замечательной мемуарной записи голоса множества согласных современников, целого «культурного слоя»:

«Это было в феврале 1818 года. Первые восемь томов “Русской истории” Карамзина вышли в свет. Я прочел их в моей постеле с жадностью и со вниманием. Появление сей книги (как и быть надлежало) наделало много шума и произвело сильное впечатление. 3000 экземпляров разошлись в один месяц (чего никак не ожидал и сам Карамзин) — пример, единственный в нашей земле. Все, даже светские женщины, бросились

читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Колумбом. Несколько времени ни о чем ином не говорили. Когда, по моем выздоровлении, я снова явился в свет, толки были во всей силе. Признаюсь, они были в состоянии отучить всякого от охоты к славе. Ничего не могу вообразить глупей светских суждений, которые удалось мне слышать насчет духа и слова “Истории” Карамзина. Одна дама, впрочем весьма почтенная, при мне, открыв вторую часть, прочла вслух: «*...Владимир усыновил Святополка, однако не любил его...*» Однако!.. Зачем не но? Однако! Как это глупо! Чувствуете ли всю ничтожность вашего Карамзина? Однако! — В журналах его не критиковали. Каченовский бросился на предисловие.

У нас никто не в состоянии исследовать огромное создание Карамзина — зато никто не сказал спасибо человеку, уединившемуся в ученый кабинет во время самых лестных успехов и посвятившему целых 12 лет жизни безмолвным и неутомимым трудам. *Ноты* “Русской истории” свидетельствуют обширную ученость Карамзина, приобретенную им уже в тех летах, когда для обыкновенных людей круг образования и познаний давно окончен и хлопоты по службе заменяют усилия к просвещению. — Молодые якобинцы негодовали; несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий, казались им верхом варварства и унижения. Они забывали, что Карамзин печатал “Историю” свою в России; что государь, освободив его от цензуры, сим знаком доверенности налагал на Карамзина обязанность всевозможной скромности и умеренности. Он рассказывал со всею верностью историка, он везде ссылался на источники — чего же более требовать было от него? Повторяю, что “История государства Российского” есть не только произведение великого писателя, но и подвиг честного человека» (Пушкин).

Еще и еще раз отметим, что для неграмотной крепостной России понятие успеха, общественного резонанса сводилось к отклику очень тонкого грамотного слоя (дворянства и некоторая часть разночинцев), но по законам историзма мы должны оценивать тогдашний триумф историка по-тогдашнему, а не позднему счету, и если так, то повторяем, такого успеха не знали историки ни до, ни после 1818 года...

Знаменитый Федор Толстой, «Американец», пошутит, да и правду молвит: теперь он впервые узнал, что у него «есть отечество».

В. А. Жуковский восклицает: «Какое совершенство! И какая эпоха для русского — появление этой истории! Какое сокровище для языка, для поэзии, не говоря уже о той деятельности, которая должна будет родиться в умах. Эту историю можно назвать воскресителем прошедших веков бытия нашего народа».

Почему же? Откуда такой успех? Отчего за два-три поколения до Пушкина дворянский читатель довольно вяло реагировал на появление капитальных исторических трудов, созданных предшественниками Карамзина? Сегодняшняя наша наука весьма высоко оценивает книги В. Н. Татищева (1686—1750), однако его «История», как отмечали позже, «не стала достоянием сколько-нибудь широкого круга читателей... Ее не читали». Так же не имели сколько-нибудь заметного успеха семь томов (восемнадцать книг) «Истории» М. М. Щербатова (1733—1790).

Ответ долгое время казался довольно простым. Вот как объявлял дело великий историк Сергей Михайлович Соловьев (во второй половине XIX века): «Почему же при несомненных достоинствах труд Щербатова не пользовался и не пользуется должным уважением? ... В то время, когда в истории все более ценили изящество формы, красноречие, труд Щербатова отличался противоположной краткостью, слогом крайне тяжелым, неправильным», после того же, как критики обнаружили ряд неточностей в том труде, Щербатов (по мнению Соловьева) «уж не нашел защитников... Явилась “История” Карамзина, в которой с полнотою соединилось беспримерное изящество формы, и труд Щербатова был забыт».

Таким образом, виною всему — нелегкий язык, тяжелый слог историков XVIII века?

Однако слишком просто было бы свести все дело к недостатку карамзинского таланта у его предшественников...

### ЯЗЫК ДЛЯ ИСТОРИИ

К концу XVIII века русский литературный язык еще не выработал необходимых форм для современного, научно-исторического изложения. То, что прекрасно звучало в летописях, хронографах, было явно недостаточно для первых историков — в новейшем понимании этого слова. Борьба за новый язык, удобный для выражения новых мыслей, новой науки, происходит в течение почти всего XVIII столетия. Сначала трудами Тредиаковского, Ломоносова, ряда других литераторов развит

новый поэтический язык: в конце XVIII века еще нет Пушкина, но уже есть Державин. Поэзия того столетия, можно сказать, завоевала читателя... А с прозой обстояло сложнее, а с научно-документальной прозой совсем сложно. «Я лишен удовольствия, — писал молодой Карамзин швейцарскому ученому, — много читать на родном языке. Мы еще бедны писателями. У нас несколько поэтов, заслуживающих быть читанными...»

Пройдет треть века, и Пушкин напишет Вяземскому: «Читал я твои стихи ... Все прелесть — да ради Христа, прозу-то не забывай, ты да Карамзин одни владеют ею».

Мы не собираемся в нескольких строках излагать труднейшие проблемы истории языка, над которыми работали и работают крупнейшие специалисты. Подчеркнем только: не случайно, что именно Карамзин произвел революцию как в русском литературном языке, так и в историографии.

Разумеется, «языковая революция» заняла не одно десятилетие. Талантливый литератор А. А. Петров посмеивался над плохим, по его мнению, немецким языком своего девятнадцатилетнего друга Николая Карамзина, советовал писать «на русско-славянском языке, долго-сложно-протяжно-парящими словами».

Несколько десятилетий журналистской, издательской практики Карамзина, его «Письма русского путешественника», «Бедная Лиза» и многие другие сочинения, угрожающая критика сторонников старого слога, «шишковистов» — все это и многое другое подготавливало будущую «Историю государства Российского». Даже тогда, когда Карамзин еще не мыслил о подобном труде.

Тяжкие многолетние опыты. Однажды, дело было в 1814 году, П. А. Вяземский попросил своего друга и родственника Карамзина помочь в сочинении текста пригласительного билета московского праздника. Карамзин, к тому времени маститый литератор, уже завершающий первую половину своих исторических трудов, с заданием справился. Но «при этом признавал трудность иногда выразить по-русски самую обыкновенную вещь, самое простое понятие». Зато драматург В. А. Озеров восклицает в письме к Жуковскому: «Примером почтенного Николая Михайловича Карамзина и Вашим примером я уверился, что наш язык ко всем родам слога способен».

В ту пору многие носители культуры, литераторы, ценители ощущали происходящее вокруг них, с ними мощное расширение, обогащение родного языка, которое не только не колебало

его многовекового строя, но доказывало его силу и жизненность. Как любопытно читать о сомнениях «карамзинистов» относительно введения того или иного слова в литературный язык: так, Вяземский сомневался, стоит ли употреблять слово «отверженец» — «разве Николай Михайлович даст ему гражданское свидетельство»; по мнению же другого литератора, С. П. Шевырева, именно Карамзин, найдя в древних бумагах слово «милый», «подметил его и первый дал ему то художественное значение, которое оно у нас получило».

Возможно, последователи Карамзина и преувеличивали именно его личные заслуги, его «единственную роль», но сами верили, когда писали: «У нас Карамзин, Жуковский, Пушкин держались одного правописания, то есть карамзинского» (Вяземский).

Впечатления первых слушателей и читателей «Истории» были ошеломляющими, причем трудно отделить наслаждение художественное, литературно-эстетическое от впечатления научного, исторического, рационального. Поэт Батюшков писал Гнедичу: «Я недавно слушал чтение его “Истории” и уверяю тебя, что такой чистой, плавной, сильной прозы никогда и нигде не слыхал». Через несколько лет та же мысль выражена в стихотворной форме:

Язык наш был кафтан тяжелый  
И слишком пахнул стариной;  
Дал Карамзин покрой иной —  
Пускай ворчат себе расколы!  
Все приняли его покрой.

(Стихи Вяземского, которые Батюшков занес в свою записную книжку, называвшуюся «Чужое — мое сокровище».)

Декабрист Александр Бестужев, конечно, иначе смотревший на многое, чем Карамзин, восклицает, что тот дал литературному языку «народное лицо».

Пушкин: «К счастью, Карамзин освободил язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив к живым источникам народного слова».

Итак, для того, чтобы написать «Историю», которая имела бы такой успех, так задела бы за живое, понадобилось научиться и других научить новому разговору...

Казалось бы, мы ответили на вопрос о причине триумфа «Истории государства Российского». Однако ответ не полон, даже очень не полон... Существует другая, важнейшая причина, отчего Татищев и Щербатов «не вышли в Карамзина...»

## ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

В 1740—1780-х годах русское общество, очевидно, еще не было готово к такому отклику на серьезные исторические вопросы, как это случилось в 1818 году и после; в этом была, между прочим, трагедия крупных ученых, пришедших «слишком рано». Уже первые внимательные читатели Карамзина отмечали, как он учел найденного, освоенного Татищевым, Щербатовым и другими предшественниками; историкам, жившим в XVIII веке, суждено было получить большое признание от «внучатого» XX столетия, нежели от «сыновнего» XIX ...

Если воспользоваться сравнением Пушкина «Карамзин — Колумб», тогда читатели Карамзина подобны людям Возрождения, которым остро необходимы великие открытия, Америка, Индия; предки же тех, кто «бросились читать историю своего Отечества, дотоле им неизвестную», — современники Щербатова, Татищева, — это как бы люди «предвозрождения», уже начинающие мечтать о новых мирах, но еще не столь захваченные мечтой, чтобы поднимать паруса.

Можно доказать столь зыбкое, кажется, неподдающееся статистике явление, как степень общественного интереса к истории?

Можно!

Судя по данным о книгах XVIII века, видно, что вообще интерес к чтению, в частности, к чтению историческому, возрастал постоянно. Когда Н. И. Новиков издал «Древнюю российскую вивлиофику» (1773—1775), где публиковались исторические документы XIV—XVIII веков, эти книжки столь сильно разошлись, что в 1788—1791 годах были полностью переизданы. Серьезные исторические труды были, однако, более высокой, сложной формой познания, нежели сравнительно популярные историко-литературные сюжеты или сборники любопытных документов. О том, что отцы и деды Пушкина, декабристов уже «дозревали», но еще «не дозрели» до глубокого исторического чтения, говорит и другая статистика, очень интересно представленная в недавнем труде А. Г. Тартаковского «1812 год и русская мемуаристика XIX века», — хотя вкус к писанию и чтению воспоминаний в сущности зарождается в России с Петровского времени, но до начала XIX века это процесс сравнительно медленный. Авторитетные современные справочные издания («История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях» под ред. П. А. Зайончковского) фиксируют всего 867 дневников и мемуаров, относящихся к периоду до 1801 го-

да, — выходит, за весь XVIII век вместе с более ранними немногими документами не написано и тысячи записок, в то время как за полвека, с 1801 по 1856 год, известно 3619 названий. Но мало того, мемуаристы XVIII века писали все больше для себя и своих близких и, как правило, не публиковали воспоминания при жизни. Как характерно, что по истории XVIII века в 1800—1809 годах появилась всего одна мемуарная публикация, с 1810 по 1819 год — 14 публикаций (в том числе 9 — после Отечественной войны); в 1820-х годах число публикаций о минувшей войне увеличивается до 21 названия; в 1830-х годах — 14 мемуаров, в 1840-х годах — 48, в 1850-х годах — 25 публикаций; «в XIX веке развитие русской мемуарной литературы... начинается фактически только по завершении наполеоновских войн».

Русские и европейские бури конца XVIII—начала XIX века, то, «чему, чему свидетели мы были...»; вот что более всего способствовало сильным переменам в умах и чувствах «лучших дворян».

Важнейшей датой этих перемен был, конечно, 1812 год.

Главной причиной, по которой россияне принялись именно после 1812 года писать мемуары, было чувство приобщения к истории у сравнительно широкого слоя (включающего и многих дворян, и грамотных разночинцев), осознание самих себя деятелями, даже делателями истории — после того, как прошли от Москвы до Парижа. «Перемена в душах», вызвавшая невиданную прежде тягу к мемуарам, была тем социально-психологическим фоном, что принес успех Карамзину: через четыре года после победы над Наполеоном появление первых восьми (а затем еще четырех) томов «Истории государства Российского» «наделало много шума и произвело сильное впечатление... Пример единственный в нашей земле».

Карамзин уловил историческую потребность и открыл тысячам людей прошлое их страны в тот момент, когда они этого жаждали. Он помог многим найти историю в себе, себя — в истории — лучшие читатели не приняли всего, что предлагал Карамзин, но получили богатейший материал для собственных раздумий. Они вместе со своим историком еще переоценивали сходство «всех времен, всех народов»; но без того горячего интереса, что проявился к прошлому в 1810—1812 годах, не было бы следующих шагов к подлинному историзму.

Время воспитало читателя-историка, и тогда явился историк-писатель, а за ним — новые великие историки и писатели.

